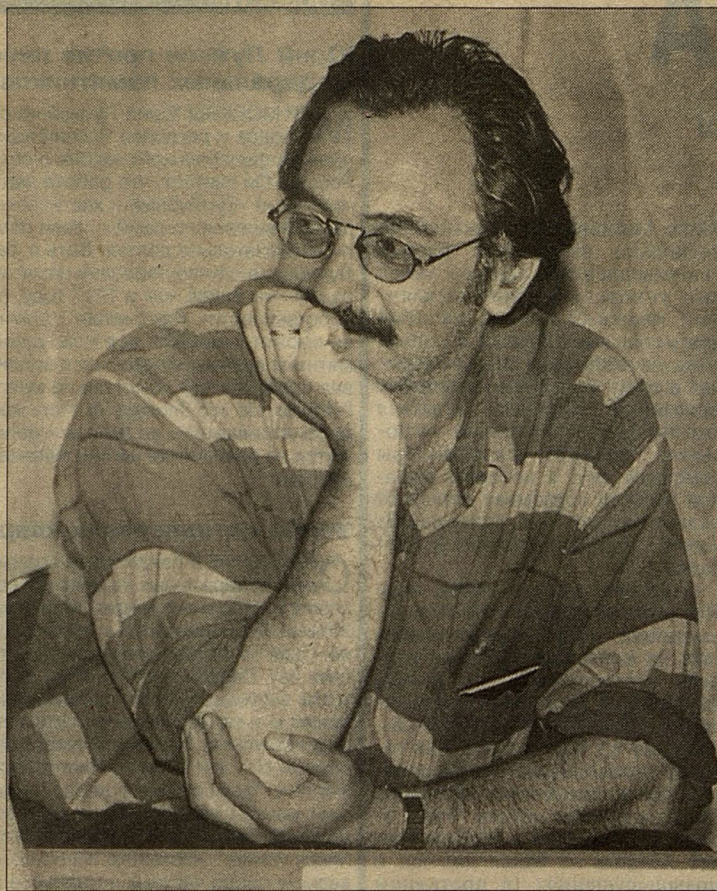


Дмитрий Олышанский

В НАЧАЛЕ цитата — вроде бы к делу не относящаяся, однако дальше она нам пригодится. «Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата: мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут главные, молодые, веселые ребята, мальчики станут повесничать, девчонки — сентиментальничать, а нам и любо» (письмо Пушкина к Плетневу).

Тимур Кибиров, некогда главнейший из русских стихотворных остроумцев, возвестивший нам в глубине восьмидесятых ностальгический постмодернизм, сильно переменялся в последние годы — захвативший много лет сборник под отчаянно-искренним заглавием «Кто куда, а я в Россию» дает хорошую возможность в этом убедиться. Кибировские тексты, прежде бывшие скопищем беспечных цитат и гармонично срифмованных «общественных» наблюдений, теперь передают нам сплошную исповедь, признание в настырной любви и собственной слабости — признание, впрочем,



Тимур Кибиров.

Фото Андрея Никольского (НГ-фото)

ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ В СТИХАХ

Однотомное собрание сочинений Тимура Кибирова

Независимая газ. — 2001 — 5 окт. — с. 8.

слишком трезвое для того, чтобы источник его, столько лет не подступавший к «интимной лирике», позабыл бы толстовскую притчу про мальчика и волков. Кричит — стало быть, больно.

Населявшие его книги прежних лет поэмы вроде «Сортиров» и «Солнцедара» были отставлены с наступлением поэтической зрелости (а «Смерть Черненко» оказалась и вовсе не включена в «избранное»): возраст диктует иные жанры, и короткое стихотворение, выходящее из-под пера Кибирова, оказывается теперь куда более логичным, нежели нескончаемые строфы его блестяще исполненных, но по прошествии времени легко устаревающих «больших форм». Заметим, что путь Тимура Юрьевича к формальному аскетизму был длинным и поначалу вовсе не очевидным. Его затейливый стиль без труда управлялся с социальной катастрофой начала девяностых. Результатом победы поэтического достоинства («Вотще! Я не куплю») над разнузданными об-

стоятельствами стала вызывающе филологичная книга «Парафразис», девизом которой может стать упрямое: «И в наш жестокий век нам, право, не пристало / скулить и кукситься». Кибиров-версификатор достиг ко времени «Парафразиса» своих вершин — одноименное стихотворение, оттолкнувшееся от Пушкина и выстроенное по образцу «Элегии» Введенского, до сих пор вызывает одно только сентиментальное восхищение: «Блажен, кто сонного ребенка, / укрыв, целует потихоньку, / полощет, вешает пеленки / и вскакивает в темноте, / дыханья детского не слыша, / и в ужасе подходит ближе / и слышит, слава Богу, слышит / сопенье! И блаженны те / и эти вот. И те, те, те».

Семейная жизнь, благословенная в своей умеренности, — вот то, что полагал Кибиров тех лет единственным своим верным спасением от бушующего романтизма, мутирующего и беспрестанно меняющего свои литературные, политические и бытовые очертания.

Стихи этого периода — все больше послания, демонстративно обращенные к жене, дочери, надежным друзьям. От перечитывания Диккенса в «мещанском» кругу отсчитывалось для Кибирова и писательство — степенную жизнь русского литератора (шкап с припрятанным графинчиком, спасительная деревня, поспевающий самовар) можно вести, лишь опершись на душевные связи с родней. Идиллия постепенного, семейственного старения, мерещившаяся писавшему об этом в письмах Пушкину, виделась лет десять назад и Кибирову — увы, и на сей раз успокоение оказалось преждевременным, а домовитое благополучие — конечным. Причины этого находятся в самой сути поприща всякого стихотворца.

Поэтическое ремесло сводится к постоянному выявлению крайне уязвимого ритмического порядка в неумолимо наползающем словесном и жизненном хаосе. В этом смысле занятия поэзией можно уподобить составлению законов

только что учрежденной республики, и потому всякий сочиняющий стихи — всегда чуточку Томас Джефферсон, а избранный им литературный строй — самый хрупкий из всех существующих. Задача поэта — производство максимального количества не всегда сходящихся друг с другом смыслов при наличии длинного ряда ограничений, неведомых как для прозы, так и для жуликоватого авангардизма «белых» стихов (размер и рифма здесь — то же, что и подотчетность законника выборной демократии). Зачаровываясь однажды сотворенным порядком («Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»), стих стремится ко все большей насыщенности и лаконичности, в то время как бессмысленность происходящего кругом поэта только умножается. Противоречие это, увы, разрастается с годами — прибывающий возраст и естественное накопление стихотворных метров обостряют чувство времени и не дают покоя. Прирожденный поэт, если хочет быть счастливым, должен оставить свою профессию.

Вышеизложенные досадные обстоятельства оказались решающими для изменения авторской манеры Тимура Кибирова, не нашедшего иного выхода, как разрушить собственный стиль. Относительно безмятежная прежде, его нынешняя «пропащая» лирика выражает ту крайнюю степень отчаяния, что свойственна поэту, перешагнувшему через созданные им же самим законы. «Еще как патриарх не древен я, но все же / в час утренний глядеть на собственную рожу / день ото дня тоскливей и тошней... И что же? Где она, блаженная усталость, / и умудренность где?» Его лирический герой более не полагается ни на домашнее счастье, ни на дружеский круг — его последним ориентиром в любовном и возрастном хаосе остается самоирония, вечная спутница как российского неистовства, так и британского трезвомыслия. Британия, кстати, — частый гость кибировских текстов, и почти всегда она символизирует недосяжимую мечту русского о рационализме, то волшебное пространство, где организация слов во фразе, мысль в голове, а гражданин в государстве — блаженная данность. «Сэр Уилфред Айвенго, а не д'Артаньян / был мне с детства в наставники дан. / А Дюма иль теperiшний ваш Деррида / мне не нравились даже тогда / Вольтерьянство хвастливое я незлолюбил, / так Айвенго меня научил».

Первый из английских литературных героев («Кто за короля Артура? А кто за Кибирова Тимура?») спит, как известно, зачарованным сном и потому не чувствует течения дней и лет. О чем может грезить истинный поэт в минуту неопозволительной слабости? Только о том, чтобы забыть, что такое время.